

Микола Рябчук

## Русский Робинзон и украинский Пятница: особенности «асимметричных» отношений\*

Канадский премьер-министр Пьер Трюдо сравнил как-то континентальное соседство своей страны с Соединенными Штатами Америки с пребыванием в одной кровати со слоном. «Каким бы сдержанным и дружественным ни было животное, – сказал он в 1969 году в Вашингтонском пресс-клубе, – невозможно не почувствовать каждого его вздоха и шевеления»<sup>1</sup>.

Украинцам досталось еще более трудное соседство, поскольку тот «слон», с которым они делят континентальное ложе, никогда не отличался особой сдержанностью, да и, собственно, дружественными чувствами к ним как отдельной, отличной от русских, нации. Многие русские, скорее всего, с этим не согласятся и скажут, что испытывают искреннюю любовь к Украине, часто ссылаясь при этом на собственные украинские связи и корни, и могут даже при случае затянуть какую-нибудь украинскую песню – в подтверждение своей компетентности и благорасположения – по крайней мере на уровне этнографии. В этом смысле они, казалось бы, кардинально отличаются от западных украинских соседей – поляков, которые никакой особой любви к украинцам на личном уровне не демонстрируют, скорее наоборот – часто и охотно высказывают различные претензии, главным образом исторические, а в социологических опросах, выясняющих их отношение к различным народам, ставят украинцев далеко в нижнюю часть предложенного списка<sup>2</sup>.

Как ни парадоксально, но для многих украинцев эта польская неприязнь более приятна или, лучше сказать, приемлема, чем русская «любовь». Парадокс вполне объясним. Поляки, даже не «любя» украинцев, признают их *равными* себе – по крайней мере, в том смысле, что считают их *другим, отдельным* народом, пусть даже по каким-либо причинам малосимпатичным. Русские же считают украинцев, как правило, разновидностью русских и в этом смысле «любят» самих

---

\* Статья ранее опубликована в сборнике *Там, внутри: Практика внутренней колонизации в культурной истории России* (Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012).

<sup>1</sup> Kennedy L. In Bed with an Elephant: Personal View of Scotland. L., 1996. P. viii. Здесь и далее, если иного не оговорено, перевод иноязычных цитат на русский принадлежит автору статьи.

<sup>2</sup> Czy Polacy lubią inne narody? Komunikat z badań. Warszawa: Centrum Badań Opinii Społecznej, 2003. [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K\\_001\\_03.PDF](http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_001_03.PDF). Последнее посещение 26.09.2011. После Оранжевой революции отношение поляков к украинцам несколько улучшилось, но отрицательные оценки все равно преобладают над положительными. [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K\\_144\\_07.PDF](http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_144_07.PDF). Последнее посещение 26.09.2011.

себя. Это, как мне представляется – разновидность имперского мифа, с которым украинцы предпочли бы не иметь ничего общего. Польская «неприятель», условно говоря, коренится в определенной реальности и таким образом может быть постепенно изменена – через нелегкий, но все же конструктивный диалог. Русская «любовь» отражает абсолютную виртуальность и никакого диалога не предполагает – лишь безоговорочное приятие.

С постколониальной точки зрения, русско-украинские отношения можно сравнить с взаимоотношениями Робинзона Крузо и Пятницы. Робинзон, безусловно, «любит» своего Пятницу – но лишь до тех пор, пока Пятница принимает предложенные ему правила игры и признает колониальную субординацию и общее превосходство Робинзона, его языка и культуры. Но стоит Пятнице взбунтоваться – провозгласить себя суверенным и равным Робинзону, а свою культуру – самоценной и самодостаточной, – как он сразу же превращается для Робинзона в самого отвязанного, ненавистного врага. Такой Пятница априорно провозглашается «ненормальным» – «буржуазно-националистическим» предателем, которому место в тюрьме, либо «национально озабоченным» девиантом, которому место в психиатрической лечебнице. «Нормальный» Пятница – это тот, который послушно приемлет объятия Робинзона, «ненормальный» – который считает их чрезмерными, или перверсивными, или унижительными и пытается от них освободиться. Русские искренне не понимают, почему украинцы обижаются, когда те называют их «хохлами», – точно так же, как Робинзон не понял бы Пятницу, если бы тот не захотел быть «Пятницей», а настаивал бы на каком-то своем причудливом туземном имени. Ведь «Пятница» – это так удобно (для Робинзона) и совсем не обидно!

Как ни грустно, но русские, несмотря на громкие декларации, не любят, как правило, *реальной* Украины и пытаются ее всячески маргинализировать в своем сознании, поскольку она отрицает ту *виртуальную* Украину, которую они для собственного удобства придумали и которую действительно любят – как самих себя, как часть своей собственной имперской идентичности, – эдакую вечно «поющую и пляшущую Малороссию», лишенную какой-либо интеллектуальности и самостоятельной политической воли.

Несколько лет назад мне случилось быть свидетелем забавного и по-своему поучительного эпизода на встрече редакторов восточноевропейских культурных журналов. Каждый из нас имел возможность представить там свой «товар», а поскольку изданий, напечатанных кириллицей, было выставлено сравнительно немного, украинская *Критика* сразу же привлекла внимание коллег-москвичей. Они долго ее листали с противоречивыми, как мне показалось, чувствами. С одной стороны, журнал им как профессионалам явно нравился; с другой стороны, им как носителям русской культуры и соответствующих стереотипов нелегко было согласиться, что украинцы могут сделать интеллектуальный продукт не хуже, если не лучше выпускаемых ими. В конце концов им удалось найти объяснение обнаруженной аномалии. В редакционных реквизитах мелкими буквами упоми-

налось, что *Критика* сотрудничает с Украинским исследовательским институтом Гарвардского университета.

«Я так и знал, что это американское!» – радостно воскликнул московский коллега. Его мифический мир, пошатнувшийся было под напором действительности, встал обратно на твердый фундамент. Пятница в этом мифическом мире не может никоим образом сравняться с Робинзоном. Разве что ему в этом поможет другой Робинзон – например, американский. Я еще не знал тогда, что через несколько лет та же логика в полной мере проявится во время и после «оранжевой революции». Ее, как мы теперь знаем, украинский Пятница, по мнению большинства россиян, осуществил не ради свободы и собственного достоинства, а исключительно по наущению западных Робинзонов – дабы навредить Робинзону русскому.

Виртуальность русских представлений об Украине – к сожалению, не единственное последствие продолжительных колониальных взаимоотношений между двумя народами и интенсивного имперского мифотворчества. Исследователи постколониализма утверждают, что колонизированный этнос постепенно усваивает, интернализирует негативный образ самого себя (self-image), навязываемый ему колонизаторами. Аборигены вынужденно принимают целую систему чужих уничижительных представлений о себе как о «варварах», «недочеловеках», «примитивах», носителях «хаоса»<sup>3</sup>. Их ментальный «космос» разрушается и деградирует под давлением негативных (авто)стереотипов, и они в самом деле становятся носителями навязанного им «хаоса», выходом из которого в лучшем случае становятся ассимиляция и интеграция в «космос» колонизаторов, в чужую и чуждую им цивилизацию, или же – вынуждены и дальше играть возложенную на них колонизаторами «хтоническую», «деструктивную», «недочеловеческую» роль<sup>4</sup>.

Показательны в этом смысле те прозвища, которые традиционно господствующее в Украине русскоязычное население применяет к украиноязычным, т.е. неассимилированным аборигенам. Все они подчеркивают либо их социально-культурную неполноценность («колхоз», «село», «жлобы»), либо вообще их недочеловеческий, анималистический характер («быки», «кугуты», «рагули» и пр.). Характерное практически для всех стран снисходительно-пренебрежительное отношение более «продвинутого», «цивилизованного» городского населения к «отсталому» деревенскому (и, вообще, провинциальному) накладывается в Украине на этно-языковые разделы и получает таким образом не столько социальную,

---

<sup>3</sup> Виссарион Белинский объяснял «невозможность независимого политического существования для Малороссии» «патриархально-простодушным и неспособным к нравственному движению и развитию характером малороссов»: «Этот народ отлился и закалился в такую неподвижно-чугунную форму, что никак бы не подпустил к себе цивилизации ближе пушечного выстрела» (Белинский В.Г. [Рец. на кн.] «История Малороссии» Николая Маркевича [1843] // Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 13 т. Т. VII. М., 1955. С. 63. Далее цитаты из Белинского приводятся по этому изданию. В скобках после цитаты дается название произведения, год, затем цифра, указывающая на том, цифры после двоеточия – на цитируемые страницы).

<sup>4</sup> См. об этом: Grabowicz O. The Legacy of Colonialism and Communism: Some Key Issues // Perspectives on Contemporary Ukraine. 1995. Vol. 2. № 2. P. 3-16.

сколько этно-культурную окраску. А с другой стороны оно остается созвучным традиционно презрительному отношению господствующей имперской группы ко всем «инородцам», едко высмеянному в свое время Евгением Евтушенко в поэме *Казанский университет* (1971), но отнюдь с тех пор не исчезнувшему:

Даже дворничиха Парашка  
армянину кричит:  
    «Эй, армяшка!»  
Даже драная шлюха визжит  
на седого еврея:  
    «Жид!»  
Даже вшивенький мужичишка  
на поляка бурчит:  
    «Полячишка!»  
    (...)  
Бедняков,  
    доведенных до скотства,  
научают и власть,  
    и кабак  
чувству собственного превосходства:  
«Я босяк,  
    ну а все же русак!»<sup>5</sup>

Обретение Украиной независимости не привело здесь к существенным изменениям, а главное – не устранило социальное неравенство между двумя основными этно-культурными группами, обусловленное глубокими структурными факторами. Главный из них – гораздо более высокий уровень урбанизации и, соответственно, модернизации русскоязычного меньшинства по сравнению с украиноязычным большинством, его значительное стартовое превосходство в начале приватизации. Этот фактор естественным образом предопределил «креолизированный» характер правящего олигархического класса. Дискурс, выражающий отношение к «аборигенам» с позиции «сверху вниз», свойственный этой группе, нигде не исчез, а с недавним приходом к власти донецкого клана во главе с Виктором Януковичем вновь перешел с бытового уровня на полуофициальный.

Оскорбления украинцев на этнической, этнорегиональной и, особенно, языковой почве стали в сегодняшней Украине достаточно распространенным явлением. Одесский гаишник, прославившийся благодаря видеозаписи в интернете, безнаказанно обзывает (при исполнении служебных обязанностей!) украинский язык – «телячьим»; его коллеги из Днепропетровска заковывают в наручники

---

<sup>5</sup> Цит. по изд.: Евтушенко Е.А. Казанский университет. Поэма // Он же. Собр. соч. в 3 т. Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1965–1972. М., 1984. С. 299–300.

гражданина, возмущившегося их аналогичными высказываниями; секретарь Донецкого горсовета не стесняется заявить, что «украинский язык годится только для фольклора и анекдотов»; присланная новой властью из Киева в западноукраинский город Калуш начальница публично (и опять же совершенно безнаказанно) обзывает регион «генетически недоразвитым», а его жителей – «цыганами немывыми»; мэр Одессы запрещает (вопреки Конституции!) использование украинского языка на сессиях горсовета и в делопроизводстве; министр образования систематически публикует украинофобские пасквилы и объясняет назойливым журналистам, что это, мол, его частное мнение, никоим образом не влияющее на исполнение им обязанностей госслужащего...<sup>6</sup>

Украина, однако, принципиально отличается от колонизированных стран Азии, Африки и Америки тем, что различие между господствующей и подчиненной группой имеет здесь языково-культурный, а не расовый характер. Черной кожей для украинцев всегда был их «рабский» (или, как сказали бы в позднесоветское время, «колхозный») язык; сменив этот «черный» язык на «белый», приняв предложенную им идентичность «хохла», они могли сделать какую угодно карьеру в Российской, а потом и Советской империи. По этническому признаку они действительно не дискриминировались, поскольку традиционно считались разновидностью того же русского народа, – если только не настаивали на своем принципиальном (национальном, а не сугубо регионально-этнографическом) отличии от великороссов.

Язык, собственно, и был главным маркером такого различия. Подозрительными, естественно, считались только те украинцы, которые пытались сознательно это различие сохранить, несмотря на давление окружающей русскоязычной среды и влияние полученного ими, – как правило, русскоязычного – образования. Деревенские, малообразованные украинцы опасными не считались; наоборот, их

---

<sup>6</sup> См.: [Б.п.] Odessa Policeman Calls Ukrainian «Cow» Language // RFERL Newslines. 2011. 26 января. [http://www.rferl.org/content/ukrainian\\_language\\_cow/2288383.html](http://www.rferl.org/content/ukrainian_language_cow/2288383.html); видео – <http://www.youtube.com/watch?v=cJmwsBsHk2U&feature=youtu.be&a> [Последнее посещение 12.09. 2011]; [Б.п.] Сподобалася «теляча мова»? Натє вам «свинячу мову» – відео з Донецької області // Майдан. 2011. 28 января. <http://maidan.org.ua/static/news/2011/1296172726.html>. Последнее посещение 12.09.2011; Медичні працівники Калуської ЦРЛ. Запрошена з Києва «кращий лікар України» обізвала галичан «цыганами немывыми» // Західний вісник. 2011. 5 мая. [http://zahidonline.com/news/article/shanovna\\_redakc\\_gazeti\\_zahdnij\\_vsnik](http://zahidonline.com/news/article/shanovna_redakc_gazeti_zahdnij_vsnik). Последнее посещение 12.09.2011; Фінгарет Ю., Ковбаса А. ДАІшники побили пенсіонера через українську мову // 5 канал. 2009. 14 апреля. <http://5.ua/newslines/231/0/58960/>. Последнее посещение 12.09.2011; Лазоренко Л. Николай Левченко: У меня есть серьезный покровитель // Полемика. 2010. 1 июля. <http://polemika.com.ua/news-42099.html>. Последнее посещение 12.09.2011; [Б.п.] Мер Одеси заборонив українську мову // Газета по-українськи. 2010. 10 декабря. <http://gazeta.ua/index.php?id=364703>. Последнее посещение 12.09.2011; Табачник Д. «Утиный суп» по-украински. Харьков, 2009; Он же. Право на бесчестье // 2000 (газета). 2009. 30 января. Подробный анализ взглядов и высказываний министра образования Украины Дмитрия Табачника опубликован Иваном Дзюбой в трех номерах газеты *День* – 2, 6 и 9 июля 2010 г. (русский перевод – <http://www.day.kiev.ua/301556>. Последнее посещение 14.09.2011 и последующие гиперссылки.) Эти статьи также вышли отдельной книгой по-украински: Дзюба І. Прокислі «щї» від Табачника. Галичанобія – отруйне вістря українофобії. Дрогобич, 2010.

убогая, засоренная русицизмами речь (так называемый «суржик»<sup>7</sup>) лишь подтверждала господствующее представление об общей никчемности и бесперспективности украиноязычного мира. На этом фоне немногочисленные украиноязычные интеллигенты в русифицированных городах выглядели действительно «национально озабоченными», то есть акцентуированными индивидами, заслуживающими в лучшем случае снисходительно-сочувственной улыбки, а в худшем – принудительного лечения либо тюремного заключения. Мало кто отваживался публично разговаривать на «черном» языке, все предпочитали быть «белыми» – как Майкл Джексон.

Хрестоматийной стала сегодня реплика одного из свидетелей на процессе Василия Стуса – выдающегося поэта, получившего 8, а потом 15 лет концлагерей и ссылки за свое творчество и правозащитную деятельность и погибшего в заключении осенью 1985 года, незадолго до массового освобождения политзаключенных, разрешенного М.С. Горбачевым<sup>8</sup>. Свидетельница утверждала, что Стус – достоподлинный «националист», потому что разговаривал с ней исключительно по-украински<sup>9</sup>. Прямая связь между общением по-украински и политической неблагонадежностью сформировалась на подсознательном уровне практически у всех граждан. И это не удивительно, поскольку определение «буржуазный националист», как и «сионист», считалось в советские времена не только опасным идеологическим ярлыком, но и могло повлечь за собой серьезные уголовные обвинения – например, в «антисоветской агитации и пропаганде» либо «клевете на советский общественный строй», под которую попадало всякое упоминание о русификации.

«Употребление того или иного языка», – писал в 1987 году американский советолог Александр Мотыль, – «имеет большое символическое значения в политизированной речевой среде, однозначно ставя говорящего по одной или другой стороне идеологической баррикады... Украинские диссиденты... хорошо осознавали этот символизм, по-донкихотовски призывая земляков протестовать против государственного привилегирования русского языка, демонстративно разговаривая по-украински не только в семье, но и на работе, в общественной деятельности, на улице. Они чувствовали, что употребление украинского равнозначно оппозиционности по отношению к советскому государству... Хотя никакой закон вроде бы и не запрещал отклонений от "нормального" языкового поведения ("никто ни над кем не стоит с пистолетом", как объяснял мне один представитель Советской Украины), нерусские вообще и украинцы в частности прекрасно понимали, что упорное использование своего языка, особенно среди русских, будет вос-

<sup>7</sup> Bilaniuk L. A Typology of Surzhyk: Mixed Ukrainian-Russian Language // International Journal of Bilingualism. 2004. Vol. 8. № 4. P. 409-425; Руда О. Суржик, або напівмовність // Українська мова та література. 2000. № 41. P. 8-10.

<sup>8</sup> Стус Д. Василь Стус: життя як творчість. Київ, 2005. См. также: Стус В. Поезії. Стихи / Сост., предисл. и пер. с укр. А. Купрейченко. Харків, 2009 (<http://library.khpg.org/files/docs/1254289625.pdf>. Последнее посещение 12.09.2011).

<sup>9</sup> Сверстюк Е. Устное сообщение.

приниматься как отрицание "дружбы народов" и проявление неприязни к "советским людям". Именно потому, что украинский и русский языки взаимно понятны, употребление украинского в общении с русскоязычными собеседниками было настолько явным демаршем против духа, если не буквы руссификаторской политики, что каждый наглец, дерзнувший совершить подобный демарш, автоматически получал ярлык "бандеровца", "петлюровца", "буржуазного националиста", либо, в лучшем случае, неблагодарного родственника "старшего брата"... Мало кто из украинцев был готов рисковать публичным осуждением, потерей работы или даже тюремным заключением ради языковой чистоты. Большинство, дабы избежать шовинистических реакций и подозрений в нелояльности, переходило на русский»<sup>10</sup>.

Я и сам помню искреннее удивление моей соседки («хохлушки», по ее собственному определению) примерно в 1986 году, когда она вдруг услышала, что мы с женой общаемся не только между собой, но и с двухлетней дочерью по-украински: «Зачем же вы ребенку жизнь калечите?!...» – воскликнула она скорее сочувственно, чем осуждающе.

Перестройка ослабила полицейско-идеологическое давление против «национально озабоченных», но не устранила ни государственно-институциональных, ни социально-экономических, ни культурно-образовательных, ни тем более психологических механизмов русификации. Не исчезли они окончательно и после провозглашения Украиной независимости в 1991 году. На одном из этих механизмов, имеющих самое непосредственное отношение к украинско-русским культурным взаимоотношениям, стоит остановиться подробнее.

## Дискурс доминирования

В последние десятилетия, благодаря развитию постколониальных исследований и умелому применению в них теории дискурса Мишеля Фуко и других французских постструктуралистов, появилась возможность деконструировать русско-украинские отношения как отношения «культурного подчинения», осуществляемого через господствующий – российско-имперский – дискурс.

По Мишелю Фуко, всякий акт речи является актом осуществления власти, навязывания воли, утверждения господства – или, наоборот, является актом сопротивления. Во-вторых, всякая речь, то есть дискурс, по мысли Фуко, коренится в существующих властных отношениях, прямым и опосредованным образом их отражает и поддерживает (либо, наоборот, разрушает), опираясь на соответствующие институты. И в-третьих, всякая речь (дискурс) является конвенциональной, привязанной к определенной традиции, определенным риторическим

---

<sup>10</sup> Motyl A. Will the Non-Russians Rebel? State, Ethnicity, and Stability in the USSR. Ithaca, 1987. P. 100-101.

приемам, формулам, образам, прямым и скрытым ссылкам, намекам, к определенному контексту и подтексту – как словесно-образному, так и предметно-событийному; в общем, это не одноразовый и, конечно же, не индивидуальный акт, а определенный процесс, развернутый в пространстве и времени, в текстовой и социальной реальности, со своими законами, инерцией и собственной энергетикой<sup>11</sup>.

Главный вывод, который сделали для себя из теорий Фуко исследователи постколониализма, заключается в том, что всякий публичный дискурс не только отражает реальность и не просто влияет на нее и на наше к ней отношение, но и преобразует ее, пересоздает, «репрезентирует», заменяет ее своеобразной «парареальностью», более реальной (в воображении реципиентов), убедительной и влиятельной, чем вся та реальность, которую он якобы описывает. Именно такое понимание дискурса легло в основу замечательных работ Эдварда Саида *Ориентализм* (1978) и *Культура и империализм* (1993)<sup>12</sup>.

Саид последовательно, на множестве примеров, интерпретирует дискурс империи как своего рода систему нарративных средств, которые отражают существующую ситуацию имперского доминирования, легитимизируют ее и утверждают как «объективно» неизбежную и необходимую. Если имперская идеология лишь обеспечивает имперский гегемонизм и экспансию необходимыми аргументами, логическим каркасом, то дискурс империи становится образно-символическим наполнением этого каркаса, его многоликой, многоцветной, многоголосой репрезентацией. Идеология – это прежде всего то, о чем говорится; дискурс – то, как это говорится, какими средствами выражается, в какой связи с другими нарративами находится. Дискурс – это еще и определенный угол зрения, подбор материала, расстановки акцентов, смягчения и замалчивания; это, в конце концов, не только тексты, но и другие формы символической репрезентации – от памятников до почтовых марок, от военных парадов и национальных праздников до картинок в школьных учебниках.

Если взглянуть в этом контексте на основные элементы имперского дискурса по отношению к Украине, нетрудно заметить, что состоит он из своего рода стандартных мифологем, при помощи которых обосновывается сугубо политическое и по своей идеологии безусловно имперское задание – подчинение и поглощение Украины Россией. Эти мифологемы знакомы большинству украинцев еще со школьной скамьи и для многих сохраняют до сих пор авторитет объективной истины – своего рода виртуальной реальности, созданной мощным господствующим дискурсом. Среди его главных мотивов – идея «триединой» русской нации и украинско-российской особой близости, почти тождественности; идея исключительного величия и могущества Российской империи, неотразимо привлекатель-

<sup>11</sup> Foucault M. L'archéologie du savoir. P., 1969.

<sup>12</sup> На русском языке книга Э. Саида *Ориентализм* опубликована в 2006 году (перевод А.В. Говорунова), работа *Культура и империализм* в переводе на русский не печаталась. – Примеч. ред.

ной для соседних народов – настолько, что они сами, без какого-либо принуждения, стремятся с ней слиться<sup>13</sup>. Отсюда – особая миссия русских, уполномоченных то ли Богом, то ли Историей объединить славян, утвердить подлинное христианство, спасти мир и, конечно же, навести порядок на своих ближних и дальних окраинах, осуществляя классическую для всякого империализма цивилизаторскую миссию.

Дискурс Российской Империи рождается вместе с империей – в символических деяниях Петра Первого и сочинениях Феофана Прокоповича. Важнейшую роль в формировании этого дискурса сыграл опубликованный между 1670 и 1674 годами в Киеве и многократно впоследствии переизданный *Синописис, или Краткое описание о начале русского народа*, вероятным автором которого считают архимандрита Киево-Печерского монастыря Иннокентия Гизеля. В отличие от московских предшественников, которые видели связь между Москвой и Киевом главным образом в династических категориях – как историю Рюриковичей, а их претензии на «русские» земли Речи Посполитой – как исключительно патримониальные<sup>14</sup>, украинский церковный автор подчеркивает также очень важную с его точки зрения ектлезиастическую связь, а главное – предлагает новаторскую для того времени концепцию территориальной и даже этнической общности «славенороссийского» народа. Концепция славянского единства и представление о православной Руси как общем прошлом русинов и москвитов существовали, собственно, и ранее – в работах ренессансных польских историков, в частности Мачея Стрыйковского, но именно украинские клирики перенесли эту хорошо знакомую им идею в московскую/российскую историографию – с далеко идущими и весьма неожиданными для них последствиями<sup>15</sup>.

Впрочем, как утверждает авторитетный исследователь той эпохи Зенон Когут, династически-государственническое видение российской истории преобладало вплоть до 1830-х годов, и лишь в 1836 году Николай Устрялов обратился к этнической концепции «общерусской» истории, пытаясь, в частности, опровергнуть обострившиеся к тому времени польские претензии на украинские и белорус-

---

<sup>13</sup> Подробнее об этом: Basarab J. *Pereiaslav 1654: A Historiographical Study*. Toronto-Edmonton, 1982. P. 179-186.

<sup>14</sup> Об отсутствии по крайней мере до второй половины XVII века какого-либо особого интереса в Московии к «киевскому наследию» довольно убедительно пишет Эдвард Кинан: Keenan E. *On Certain Mythical Beliefs and Russian Behaviors // The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia* / Ed. S. Frederick Starr. Armonk, 1994. P. 19-40.

<sup>15</sup> Kohut Z. *The Question of Russo-Ukrainian Unity and Ukrainian Distinctiveness in Early Modern Ukrainian Thought and Culture*. Edmonton, Toronto, 2003. P. 57-86. Заметим, что для украинских интеллектуалов XVII-XVIII веков идея единства «Малой» и «Великой» Руси означала историческую первичность и превосходство именно «Малой» Руси – по близкой им аналогии с «Малой» и «Большой» Грецией. В несколько упрощенном виде эту идею повторяет сегодня, сам того, по-видимому, не ведая, президент Беларуси Александр Лукашенко, утверждая, что белорусы – это «те же русские, но со знаком качества».

ские земли<sup>16</sup>. Эпоха национализма пришла в Россию вместе с эпохой наполеоновских войн и возникновения «польского вопроса», а впоследствии и аналогичного ему украинского<sup>17</sup>, казавшегося тогда многим в России зловердной польской (и вообще внешней) интригой – впрочем, сторонников этой точки зрения немало и сегодня.

Репрезентация Украины в российской имперской культуре была вначале во многом похожа на репрезентацию «экзотических» юго-восточных окраин и, шире, репрезентации всех «ориентальных» земель в классических литературах Запада. Характерные особенности такой репрезентации – изображение колонизированных земель как диких или полудиких, лишенных внутренней структуры, архаических и анархических, заселенных неполноценными людьми, а человекообразными существами, законсервированными вне времени – за пределами подлинной, то есть имперской истории. Наиболее четко и последовательно такой образ Малороссии воссоздал Виссарион Белинский, основываясь отчасти на образах Украины в произведениях Гоголя, Пушкина, Квитки-Основьяненко и других современных ему литераторов, а отчасти на собственных (основанных на упрощенно понятых трудах Гегеля) представлениях о Духе Истории и обреченности «неисторических» народов на подчинение и слияние с «избранными» историей. Согласно этой концепции, «(...) история есть фактическое жизненное развитие общей (абсолютной) идеи в форме политических обществ. Сущность истории составляет только одно разумно необходимое, которое связано с прошедшим, и в настоящем заключает свое будущее. Содержание истории есть общее: судьбы человечества. Как история народа не есть история миллионов отдельных лиц, его составляющих, но только история некоторого числа лиц, в которых выразились дух и судьбы народа, – точно так же и человечество не есть собрание народов всего земного шара, но только нескольких народов, выражающих собою идею человечества» (*Россия до Петра Великого*, 1841; 5: 91).

В число этих избранных «нескольких» не попадают не только «какие-нибудь якуты, буряты, камчадалы, калмыки, черкесы, негры, которые действительно ничего общего с человечеством не имели...», но и китайцы, которые хотя и имели некогда «всемирно-историческое значение», и даже «теперь существуют, да еще в числе, как говорят, чуть ли не ста миллионов голов, однако они столько же принадлежат к человечеству, сколько и миллионы рогатых голов их многочисленных стад» (*Россия до Петра Великого*; 5: 92, 95)<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Kohut Z. A Dynastic or Ethno-Dynastic Tsardom? Two Early Modern Concepts of Russia // *Extending the Borders of Russian History: Essays in Honor of Alfred J. Rieber* / Ed. Marsha Siefert. Budapest, 2003. P. 17-30.

<sup>17</sup> Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914). М., 2011. С. 249-365.

<sup>18</sup> «Весь этот вздор», – писал о «гегельянстве» Белинского русский философ Густав Шпет, – «не заслуживал бы внимания, если бы Белинский выдавал его только за свое собственное творчество и не внушал читателю право думать, что им, Белинским, в самом деле точно и адекватно передается мысль Гегеля» (Шпет Г. К вопросу о гегельянстве Белинского / Предисл., подг. текста

Место Украины и украинцев в схеме Белинского легко представимо: «История Малороссии – это побочная река, впадающая в большую реку русской истории. Малороссияне всегда были племенем и никогда не были народом, а тем менее – государством... И так называемая Гетьманщина, и Запорожье нисколько не были ни республикою, ни государством, а были какою-то странною общиною на азиатский манер. Настоящими и постоянными их противниками были крымские татары, и малороссияне воевали с ними отлично, в духе своей национальности... Это была пародия на республику, или – другими словами – славянская республика, которая, при всем своем беспорядке, имела призрак какого-то порядка. Порядок этот заключался не в правах, свободно развившихся из исторического движения, но в обычае – краеугольном камне всех азиатских народов. Этот обычай заменял закон и царил над беспорядком этой храброй, могучей широким размахом души, но бестолковой и невежественной мужицкой демократии. Такая республика могла быть превосходным орудием для какого-нибудь сильного государства, но сама по себе была весьма карикатурным государством, которое умело только драться и пить горилку» («История Малороссии» Николая Маркевича; 7: 60-62)

Расчленение Польши и колонизация Украины представлены таким образом не как следствие определенной имперской политики, а как воплощение высшего промысла и безусловное благодеяние для «простодушного и невежественного, хотя и доблестного племени» – «азиатского рыцарства, известного под именем удалого казачества». «Слившись навеки с единокровною ей Россиею, Малороссия отворила к себе дверь цивилизации, просвещению, искусству, науке, от которых дотоле непреодолимою оградою разлучал ее полудикий быт ее. Вместе с Россиею ей предстоит теперь великая будущность... В истории ничего не бывает случайного, и трагические коллизии ее исполнены такого же глубокого смысла, как и потрясающей душу поэзии: в них открываются неотразимые определения миродержавного промысла, победоносный ход света разума, вечно борющегося с тьмою невежества и вечно торжествующего над нею...» («История Малороссии» Николая Маркевича; 7: 64-65)

«Ориентальная» репрезентация Украины наталкивалась, однако, на существенное сопротивление фактического материала и требовала таким образом корректировки в рамках имперского дискурса. Во-первых, Украина не была по отношению к России «Востоком», скорее наоборот – на протяжении нескольких веков она была по отношению к России источником западного влияния, существенным фактором европеизации Московского царства и превращения его в Российскую империю (о чем В.Г. Белинский весьма примечательным образом умалчивает).

---

и публ. В.М. Живова // Вопросы философии. 1991. № 7. С. 115-176, здесь с. 147). В контексте нашей дискуссии не менее важно и то, что «...идеи Белинского воспринимались образованной и образующейся Россией... Его мысли принимались или не принимались, усваивались, влияли, находили последователей, отражались на их развитии, воплощались дальше в их собственной писательской, научной, практической деятельности и таким образом входили в общий состав русской культуры, определяли настоящее содержание русского культурного сознания и предопределяли его будущее развитие» (Там же. С. 116).

Во-вторых, эта империя сама подвергалась активной «ориентализации» со стороны западноевропейского дискурса – достаточно вспомнить хотя бы путевые заметки маркиза де Кюстина. А главное, Украина не могла быть чем-то совершенно «чужим» для империи – не только из-за своей православной и славянской близости, но и в связи с наследием Киевской Руси, которое надлежало инкорпорировать в имперскую историю как вполне «свою» и органическую.

Таким образом, репрезентация Украины в российском дискурсе была скорее амбивалентной: это был край одновременно враждебный и дружественный, далекий и близкий, внешний и внутренний, чужой и родственный. Дабы избежать логического противоречия между этими репрезентациями, российская историография разработала изоциренную модель двуединой (а позже, в советские времена, триединой) русской нации, в которой украинцам отводилась роль региональной «ветки», оторванной от единого «древа» неблагоприятными историческими обстоятельствами, но все же успешно прицепленной обратно, где она получила теперь возможность по-настоящему расцвести во благо себе и всему дереву. Украинской амбивалентности таким образом было дано рациональное и достаточно убедительное объяснение: все, что есть в Украине и украинцах хорошего, происходит из общего русского наследия, единокровия, единоверия и, конечно же, неистребимого желания быть лояльными по отношению к единому властелину – своего рода православно-имперская телеология, примечательно воплощенная, например, во втором варианте *Тараса Бульбы* Н. Гоголя.

А с другой стороны, все, что есть в Украине и украинцах плохого, является следствием враждебных внешних влияний – польско-католических, иезуитских, униатских, татарских и пр. Примечательно, что польские влияния в этом дискурсе никогда не являются культурно-цивилизационными, а исключительно – деструктивными, связанными с религиозным и социальным гнетом, общественной дегенерацией и нравственным упадком. Если украинцы и позаимствовали от поляков какие-либо элементы цивилизации, то лишь весьма сомнительную католическую ученость и неэффективные правовые и административные институты, которые собственно и довели саму Польшу до хаоса и необходимости установить над ней соседскую «опеку». Не менее характерно и то, что удельный вес «польских влияний» в российских репрезентациях Украины весьма ограничен: несмотря на всю свою амбициозную риторику, Российская империя чувствовала себя довольно неуютно по отношению к Польше в культурно-цивилизационном плане. Поэтому в имперских репрезентациях Украины преобладают намеки на «татарские» и, вообще, «азиатские» влияния.

Достаточно вспомнить хотя бы Мазепу в *Полтаве* Пушкина, изображенного как опереточного, полуазиатского персонажа (в противопоставление «европейцу» Петру I); или же упомянутые выше пассажи Белинского о запорожцах как о разновидности татар, или менее известные, но не менее забавные пассажи Павла Свиньина из его очерка *Полтава* (1830): «Своими наружными качествами, лицом, окладом, стройностию стана, ленью и беззаботностию малороссияне более

сходны с роскошными обитателями Азии, но не имеют тех буйных, неукротимых страстей, свойственных поклонникам Исламизма: флегматическая беспечность, кажется, служит им защитой и преградой от беспокойных волнений, и часто из под густых бровей их блестит огонь; пробивается смелый европейский ум; жаркая любовь к родине и чувства пламенные, одетые первоначальной простотой, помещаются в груди их. Эта простота доходит нередко до излишества и дает право их обманывать и проводить; она породила множество забавных анекдотов, исполненных чертами истинного добродушия».<sup>19</sup>

Цель этого дискурса двойственна: с одной стороны, он определяется художественной, характерной для романтизма потребностью представить Украину и украинцев как нечто экзотическое, иное, отличное, специфическое; с другой – подчиняется политическому императиву ассимиляции края, его имперской гомогенизации. Отличие украинцев от русских может быть любопытным с эстетической точки зрения – на уровне фольклора, обычаев, внешности, но с политической точки зрения оно не должно быть чрезмерным, слишком существенным, таким, которое бы мешало приручению и одомашниванию края, его интеграции в единый имперский проект. При всех своих отличиях украинцы должны оставаться в имперском дискурсе разновидностью русских – то есть материалом не столько для литературных экзерсисов, сколько для эффективного имперского строительства.

Своеобразной жемчужиной этого дискурса можно считать заметки князя И.М. Долгорукого из его книги о путешествии в Малороссию 1810 года: «Хохол, кажется, сотворен на то, чтобы пахать землю, потеть, гореть на солнце и весь свой век жить с бронзовым лицом. Лучи солнца его смуглят до того, что он светится, как лаком покрыт, и весь череп его изжелта позеленеет (sic!); однако он о таком поработанном состоянии не тужит: он не умеет понять ничего лучше. Я с ними говорил. Он знает плуг, вола, скирд, горелку, и вот весь его лексикон. Если бы где хохол пожаловался на свое состояние, то там надобно искать причину его негодования в какой-либо жестокости хозяина, потому что он ["хохол". – М.Р.] охотно сносит всякую судьбу и всякий труд, только нужно его погонять беспрестанно; ибо он очень ленив: на одной минуте пять раз и он, и вол заснут и проснутся. (...) ...Если бы весь этот народ не был обязан помещикам добронравным, за их к себе доброхотство и уважение к человечеству, то бы хохла трудно было отделить от негра во всех отношениях: один преет около сахара, другой около хлеба. Дай Бог здоровья и тем, и другим!»<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Отечественные записки. 1830. № 120. С. 31-32.

<sup>20</sup> Долгорукий И.М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. М., 1870 (Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. Кн. 2-3). С. 242-243. Характерно, что публикатор книги Долгорукого, украинский филолог, историк и поэт-романтик Осип Бодянский в издании 1870 года к фразе «Он не умеет понять ничего лучше» сделал сноску: «Естественно, в том незавидном положении, в каком находился [малороссийский крестьянин]», то есть в крепостном.

Снисходительно-насмешливое отношение автора к предмету своего описания имеет скорее сословный, чем этнический характер. Князь Долгорукий описывает специфическую региональную разновидность имперского крестьянина, которого называет «хохлом», хотя можно предположить, что столь же надменно и пренебрежительно он бы описывал и различия между костромским крестьянином и, скажем, рязанским. В начале XIX века российские аристократы (как и малороссийские) не имели еще обычая причислять себя к одной нации ни с великорусскими крестьянами, ни с украинскими. Эстетический императив этого дискурса понятен: представить своим читателям нечто любопытное, забавное, оригинальное: «дикий» Кавказ и «поющая и пляшущая» Малороссия, безусловно, обеспечивали романтиков гораздо лучшим материалом для их экзотических нужд, чем Рязань или Кострома. Не менее очевиден здесь и идеологический императив: обеспечить не только политическое, но и экономическое господство империи на новообретенных территориях, сделать «хохлов» – сначала на уровне репрезентации, а потом и в действительности – «своими», домашними, безопасными, приспособленными к потребностям империи.

Текст Долгорукого представляет собой довольно удачный пример почти полного совпадения эстетического императива с политическим; специфические особенности малороссов показаны здесь таким образом и в такой лишь степени, в какой это необходимо для обоснования их имперского закрепощения и эксплуатации: «хохлы», в сущности, – это такие же крестьяне, только более ленивые, а потому нуждаются в более строгом присмотре и принуждении. У более талантливых авторов, однако, противоречие между политической задачей и эстетической оказывается подчас довольно значительным. Кондратий Рылеев, например, в поэме *Войнаровский* представляет фактически положительный образ Мазепы – не как «предателя», согласно с господствующим имперским дискурсом, а как свободолюбивого бунтовщика – соответственно с собственной художественной интуицией, Николай Гоголь пишет совершенно лояльные по отношению к империи «малороссийские» повести, которые, однако, оказываются потенциально опасными для нее и даже подрывными – именно из-за яркого, талантливого, слишком уж восторженного и увлекательного изображения автором украинского отличия и своеобразия. Гоголь непреднамеренно довел противоречие между потребностью политического подчинения Украины (через ее чаемую гомогенизацию) и ее эстетическим освобождением (через утверждение ее культурной уникальности) до опасного предела, за которым самобытный край со славным прошлым начинал развиваться уже по собственным законам, вопреки гомогенизирующим усилиям империи. Гоголь-имперец отрицал эту возможность, постоянно подчеркивая, что его Малороссия – это своего рода музей, яркое прошлое, которое, однако, угасло, закончилось, нашло свое логическое завершение в общеимперском современном и будущем. Нужен был лишь определенный толчок, чтобы

реанимировать, реинтерпретировать этот миф – миф славной, но отжившей свое, умершей Малороссии<sup>21</sup>.

## Появление контрдискурса

Шевченко создал новый миф, полемически основанный, как убедительно показал Григорий Грабович, на отрицании гоголевского и в то же время – на его творческом развитии<sup>22</sup>. Это был образ не мертвой Украины, а усыпленной, похороненной живьем, однако готовой к пробуждению и воскресению. Шевченко воссоздал ту самую Украину, которую Гоголь неосмотрительно создал и еще неосмотрительнее (потому что преждевременно) похоронил. Однако поэту *было что воссоздавать* – именно благодаря Гоголю и многим другим лояльным к империи, но, как вскоре обнаружилось, «слишком» озабоченным малороссийской самобытностью украинофилам.

Драматическая раздвоенность малороссийских интеллектуалов между имперским и региональным становилась на протяжении XIX века все более острой – по мере формирования современного украинского национализма. Даже, казалось бы, гиперлояльный к империи Г.Ф. Квитка-Основьяненко (1778–1843) в 1810–1840-е годы невольно подрывал ассимиляционистскую имперскую стратегию, показывая витальность местной идентичности и целеустремленно расширяя круг читателей украинской литературы – тех самых читателей, без которых успех, а может, и появление Шевченко были бы невозможны. Собственно, на это скрытое противоречие между политически «имперским» и эстетически «национальным» еще в 1985 году указал Марко Павлышин в статье о политике и риторике в *Энеиде* Котляревского<sup>23</sup>. То, что у Гоголя и Основьяненко было скорее непреднамеренным, «побочным» следствием их имперского украинофильства, через пару десятилетий стало частью сознательной редакционной стратегии петербургского украиноязычного журнала *Основа* (1861–1862). Подчеркивание отличия, самобытности Украины становится аргументом в пользу ее самоопределения.

Украинская культура во второй половине XIX века постепенно перестает быть частью «общерусской», формируя свой собственный канон, институции (критику, издательства, журналы), своего читателя и, конечно же, свой самостоятельный, эмансипированный от имперского дискурс. Творчество Шевченко, безусловно, в огромной степени ускорило этот процесс, хотя были и другие факторы: жесткие цензурные и, в частности, языковые притеснения, перенесение изда-

---

<sup>21</sup> «Гоголь несомненно сохраняет значение и для украинской, и для русской литератур. Его националистически окрашенная художественная и нехудожественная проза принимает участие и в украинском, и в русском национализме» (Bojanowska E. Nikolai Gogol: Between Ukrainian and Russian Nationalism. Cambridge, Mass., 2007. P. 375).

<sup>22</sup> Грабович Г. Гоголь і миф України // Сучасність. 1994. № 9. С. 77-95; № 10. С. 137-150.

<sup>23</sup> Павлышин М. Канон та іконостас. Київ, 1997. С. 294-307.

тельской деятельности за границу (прежде всего в Галицию), русификация украинских городов и угасание романтического интереса российской публики к малороссийской экзотике. Фактически до самой революции отношение образованных русских к украинской литературе и, вообще, проблематике оставалось почти тем же, что и в 1830–1840 годах, – на уровне печально известных откликов Белинского и Хомякова, то есть на уровне консервативной парадигмы, которая вообще отрицала украинскую литературу как опасную глупость, либо на уровне парадигмы либеральной, которая принимала ее в целом доброжелательно – но исключительно как диалектную разновидность общерусской.

Русские писатели и читатели как бы и не замечали, что сам характер украинской литературы и сознания существенно изменился... Украинскую литературу и дальше рассматривали как эстетически неполноценную, а украинское сознание – как проявление провинциализма. Научный дискурс об Украине почти не проникал в русскую литературу, а мощнейшие артикуляции контрдискурса оставались, как правило, незамеченными. Как следствие, русские интеллектуалы маргинализировали украинскую проблематику. В художественных произведениях украинские характеры практически никогда не обладают какой-либо психологической глубиной, а их культурные проблемы никогда не трактуются всерьез. Если украинцы и появляются в русской прозе второй половины XIX века (как, например, в произведениях Толстого – различные конюхи, садовники, солдаты), то от русских они отличаются лишь своим «говором». Хотя Чехов и Бунин называли себя в шутку «хохлами», это определение не имело для них никакого политического смысла<sup>24</sup>.

Эта поразительная глухота имперской культуры к своему ближайшему и самому большому соседу, к все более громкому и разнообразному многоголосью, появляющемуся в украинской культуре, является характерным примером мощи и в то же время катастрофической инерционности имперского дискурса, из гравитационного поля которого оказалось не под силу вырваться даже таким талантливейшим художникам, как М.А. Булгаков, В.В. Набоков, А.А. Ахматова, И.А. Бродский. «Есть, пожалуй, некая печальная ирония в том, что спустя три четверти века, наполненных непрерывной борьбой украинцев за свою культурно-национальную идентичность, им так и не удалось изменить некоторые устойчивые стереотипы, глубоко укоренившиеся в русском менталитете и государственно-правовой мысли», – пишет современный исследователь о резко отрицательном отношении видного российского либерала начала XX века Петра Струве к украинскому национальному движению того времени. – «(...) Как и у Белинского, эта позиция резко контрастировала с его приверженностью к поли-

---

<sup>24</sup> Shkandrij M. *Russia and Ukraine: Literature and the Discourse of Empire from Napoleonic to Postcolonial Times*. Montreal, 2001. P. 166.

тической философии либерализма и демократическими взглядами по другим вопросам»<sup>25</sup>.

Имперская культура попала как бы в ловушку времени, в упор не видя появившихся Украины и украинцев, а точнее – упорно воспринимая их на уровне князя Долгорукого и Виссариона Белинского как явление сугубо сословное, регионально-этнографическое, а не национальное, располагающее большим набором культурных форм, жанров и выразительных средств.

Пародирование украинского языка, закавычивание искаленных украинских слов с целью их осмеивания – прежде всего, хотя и не только, в массмедийной публицистике и популярной культуре – лишь часть общей дискурсивной стратегии, направленной на удержание Пятницы в подчинении (прежде всего умственном) – путем превентивной дискредитации всяческих его эмансипационных поползновений. Типологически такое перекуривание «хохлов» – из того же ряда, что и представление стереотипных евреев либо «кавказцев» путем имитации их «смешного» акцента. С той лишь разницей, что по отношению к «хохлам» дают подчас волю своим ксенофобским инстинктам даже вполне респектабельные, казалось бы, режиссеры, актеры, писатели, журналисты.

Дискурс доминирования, сформировавшийся в русской культуре начала XIX века, который «приручал», «одомашнивал», «присваивал» Украину, всячески ее примитивизируя, не изменился, в сущности, до сих пор. С самого начала этот дискурс старательно отсеивал факты, события и голоса, репрезентируя лишь те из них, которые его объективно укрепляют. Все, что могло бы помешать репрезентации «литературной Украины» в имперском дискурсе, последовательно замалчивалось либо маргинализировалось – как, к примеру, резня, учиненная российскими войсками под командованием А.Д. Меншикова в Батурине (резиденции гетмана И.С. Мазепы) в 1708 году или, с другой стороны, польские культурные влияния и уровень образования в Украине XVI–XVII веков. Тарас Бульба, скрывавший свою ученость и знание латыни, является в этом смысле фигурой знаковой. Как, впрочем, и те гоголевские запорожцы, которые сознательно разыгрывают в Петербурге роль придурковатых хохлов, ибо именно этого от них ожидают.

Имперский дискурс фактически лишал украинцев их реального голоса, говоря вместо них и от их имени. Собственно, реальные потребности, мысли и чувства «туземцев» не имеют никакого значения, потому что империя знает все это лучше, чем они сами. Знаменитые слова Белинского из письма Анненкову от 1–10 декабря 1847 года о том, что он, мол, сам не читал шевченковских «пасквилей» «на императора» и «на императрицу» и читать не намерен, ибо и так знает, что

---

<sup>25</sup> Торбаков И. Белинский и Струве: российские «Аннибалы либерализма» и украинский вопрос // Россия и внешний мир: диалог культур / Под ред. А. Голубева. М., 1997. С. 230–240, здесь с. 237.

сочинения эти «плоски и глупы»<sup>26</sup> (Белинский, 12: 40–442), являются квинтэссенцией имперского восприятия Украины российскими интеллектуалами.

В этом восприятии никчемен не только *Сон*, но и весь Шевченко – «хохлацкий радикал», в котором «здравый смысл должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому» (Белинский, 12: 440). Никчемен язык («областное малороссийское наречие» [Рец. на альманах украинской литературы *Ластовка* под ред. Е. Гребёнки и оперное либретто Г. Квитки-Основьяненко *Сватанье*, 1841; Белинский, 5: 177]) и, конечно же, литература на нем («которая только и дышит, что простоватостию крестьянского языка и дубоватостию крестьянского ума» [Белинский, 5: 179]); никчемен весь украинский проект и его окарикатуренные адепты («Ох эти мне хохлы! Ведь бараны – а либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом!» [Белинский, 12: 441]). Проблема вовсе не в том, что Белинский относился к украинскому проекту скептически (хотя и скепсис желательно выражать в менее агрессивной и высокомерной форме). Украинский проект в 1840-е годы не выглядел убедительно, скажем так, и для большинства украинцев. Хуже, что подобные взгляды и даже подобный стиль остаются востребованными донныне, причем не только в российской публицистике и масскульте, но и в изящной словесности – вплоть до великого Иосифа Бродского с его приснопамятной одой «На независимость Украины».

С появлением украинского контрдискурса обнаружилось, однако, что для его замалчивания и маргинализации недостаточно одних лишь дискурсивных средств. Несмотря на тотальный контроль империи над образованием, печатью, публичными выступлениями, оказалось, что для нейтрализации опасного конкурента нужны еще и дополнительные цензурные и полицейские меры. «Борьба двух культур», о которой любят порассуждать имперские либералы, обернулась на поверку борьбой культуры, у которой есть армия и полиция, против культуры, у которой нет ничего, даже доступа к печати. Взгляды на Украину со стороны левых и правых, либералов и консерваторов, культурных элит и жандармских оказались в России чрезвычайно похожими. Даже самые выдающиеся российские писатели, констатирует американская исследовательница, «использовали свое привилегированное положение выразителей имперской идеи для маргинализации других дискурсов и навязывания своего "первичного значения" (если можно употребить здесь термин Ганса-Георга Гадамера) читателям российской литературы в России и за ее пределами»<sup>27</sup>.

Расплата за это почти полное единодушие, за естественную для полицейских, но непростимую для интеллектуалов глухоту к голосу «другого», оказалась довольно тяжелой, хотя до сих пор должным образом неосознанной. На примере глубокой, почти истерической украинофобии Михаила Булгакова (*Дни Турбиных*,

<sup>26</sup> По мнению комментаторов Собрания сочинений Белинского, критик под обоими «пасквилями» имел в виду один и тот же текст – поэму Шевченко *Сон* (1844) (12: 569).

<sup>27</sup> Thompson E. *Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism*. Westport, 2000. P. 20.

*Белая гвардия, Киев-город*) можно говорить о подлинной трагедии выдающегося писателя, чье «видение гомогенной и целостной русской культуры со сложившимися нормами было травмировано появлением национального движения, о существовании которого он не подозревал и которое упорно продолжал отрицать. В его текстах об Украине можно заметить стремление загнать джина обратно в бутылку, реинтерпретируя все события данного периода в соответствии с господствующим и общепринятым культурным образцом»<sup>28</sup>.

## Постколониальное освобождение?

Подытоживая, можем сказать, что столетия колониального гнета и, соответственно, «интернализации» имперского насилия по отношению к другим народам причинили русской ментальности колоссальную общенациональную травму. Преодоление этого травматического наследия в русской культуре, как, впрочем, и соответствующего травматического наследия в культуре украинской, возможно, по мнению ряда современных исследователей, через освоение обеими культурами постколониальных художественных практик и подходов.

«Постколониальность», – объясняет Марко Павлышин, – «осознает телеологичность колониальных и антиколониальных позиций и, следовательно, их исключительный и насильственный (исторически подтвержденный либо только потенциальный) характер. Поэтому она крайне скептически относится ко всем схемам и символам как имперской, так и антиимперской славы. В то же время постколониализм признает реальность истории: с одной стороны – подлинность и болезненность причиненных страданий, с другой стороны – невозможность представить современность без всех элементов ее предыстории, как антиколониальной, так и колониальной. Постколониальность в культуре открыта и толерантна; она создает новое, используя в качестве источника весь диапазон культуры прошлого. Она настороженно относится к слишком четким лозунгам, простым категориям, всеобъясняющим мифам и однозначным историческим нарративам, предпочитая скорее ироническое мировосприятие. При этом вовсе не деструктивное высмеивание и нигилизм образуют философский фон постколониализма, а стремление избежать какого-либо насилия, какого-либо господства. Постколониализм не стремится заменить господство колонизаторов какой-либо новой иерархией власти, он предлагает вместо этого состояние свободы и раскрепощенности, одинаково доступное для всех»<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Shkandrij M. *Russia and Ukraine*. P. 219.

<sup>29</sup> Павлышин М. Що перетворюється в «Рекреація» Юрія Андруховича? // Idem. *Канон та іконостас*. Київ, 1997. P. 237-254, здесь p. 238-239. См. также: Pavlyshyn M. *Post-Colonial Features in Contemporary Ukrainian Culture* // *Australian Slavonic and East European Studies*. 1992. Vol. 6. № 2. P. 41-55, здесь p. 42-46.

В этом смысле элементы постколониальной иронии и самоиронии, гибридности и протеизма прослеживаются в творчестве украинских писателей 1920-х годов; собственно, уже украинские модернисты рубежа XIX–XX веков демонстрируют существенное усложнение традиционного антиколониального дискурса, обогащая его элементами саморефлексии, внутренней полемики, в частности полемики с господствующей народнической доктриной; именно отсюда проистекают другие альтернативные дискурсы – феминистический (Леся Украинка, Ольга Кобылянская), эстетский (Михайло Коцюбинский, Мыкола Зеров), авангардистский (Михайль Семенко, Майк Йогансен).

Обращение современных украинских интеллектуалов именно к той, прерванной, национальной традиции 1910–1920-х годов, видимо, не случайно: «высокий» модернизм привлекает их скорее всего своей подчеркнутой «европейскостью» и, в определенном смысле, космополитичностью – акцентом на общечеловеческой проблематике и вниманием к формальной новизне и изощренности. Постколониальность в обоих случаях проявляется как подсознательное стремление выйти за пределы осажденной крепости и обрести внутреннюю свободу, отказавшись от жесткой идеологической матрицы «мы – они», от упрощенной альтернативы «или – или», от категорического «нет» в пользу более диалогичного и конструктивного «да, но...»<sup>30</sup>.

Две ранние повести Юрия Андруховича – *Рекреации* (1992) и *Московиада* (1993) – представляют собой хороший пример «постколониальной» деконструкции не только имперских мифов, но и национальных, в частности, традиционного изображения Украины как невинной жертвы злых соседей, прежде всего демонической России. В обоих произведениях это внешнее зло оказывается довольно банальным, причем проявляется / актуализируется оно лишь в той степени, в какой его интернализировали (усвоили, приняли вовнутрь) сами персонажи-украинцы.

В одном из относительно недавних романов *Двенадцать обручей* (2003) Андрухович расправляется с национальными, прежде всего народническими мифами, удачно успользуя для этого остраненный взгляд главного героя-иностранца, немецкого фотографа Йозефа Цумбруннена. Вот одно из беспощадных наблюдений, изложенное немецким Кандидом в письме на родину: «Ужасно досадно общаться с некоторыми здешними авторитетами... Днями один из таких, бывший узник совести и автор самиздатовских стихов, по иронии высших властей и локально-дворцовых интриг заброшенный в соблазнительное должностное кресло, убеждал меня в том, что его нация возрастом чуть ли не десять тысяч лет, что украинцы поддерживают непосредственную связь с космическими силами добра и

<sup>30</sup> Подробнее об этом см. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. Київ, 2005; Andryczyk M. New Images of the Intellectual in Post-Soviet Ukrainian Literature // Ukraine on Its Meandering Path between West and East / Ed. A. Lushnycky, M. Riabchuk. Bern, 2009; Chernetsky V. Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization. Montreal, 2007; см., в частности, раздел 7: «The (Post)colonial (Post)carnavalesque, or, The Poetics and Politics of Bu-ba-bu». P. 206-227.

формой черепов и надбровных дуг достаточно близки к *эталонному арийскому идеалу*, вследствие чего против них существует определенный всемирный заговор, непосредственными исполнителями которого являются ближайшие географические соседи и некоторые *внутренне-разлагающие этнические факторы* – "вы понимаете, кого я имею в виду, пан Цумбруннен". Далее он потратил еще немало сил на то, чтобы продемонстрировать мне полную никчемность российской культуры, камня на камне, как ему казалось, не оставив от Мусоргского, Дюбюсси, Семирадского и Бродского (а фамилии, одни лишь фамилии чего стоят, кричал он, войдя в экстаз и забрызгивая меня всего своей сине-желтоватой пеной – Рубинштейн! Эйзенштейн! Мандельштам! Миндельблат! Ростропович! Рабинович!), самое комичное, что все это он вынужден был формулировать на русском языке, поскольку ни единого из европейских этот *истинный праевропеец* так и не задал себе труда выучить. Я вынужден был прервать его хаотическую лекцию несколькими неудобными вопросами, на которые он лишь бессмысленно хлопал глазами. Я спросил, например, такое: "Хорошо, если у вас и в самом деле настолько давняя и мощная культура, то почему так воняют ваши общественные туалеты? Почему эти города больше похожи на догнивающие свалки? Почему их старинные центры гибнут целыми кварталами, почему обваливаются балконы, почему нет света в парадных и столько битого стекла под ногами? Кто в этом виноват – русские? Поляки? Другие *внутренне-разлагающие факторы*? Ладно, вы не можете управиться с городами, но как быть с природой? Почему ваши крестьяне – эти, как вы говорите, носители десятитысячелетней цивилизационной традиции – так упрямо сваливают все свое [г...] прямо в реки, и почему когда путешествуешь по вашим горам, то брошенного железа находишь впятеро больше, чем лекарственных растений?"»<sup>31</sup>

Несмотря на перспективность и привлекательность таких деконструктивистских стратегий, следует заметить, однако, что ни русская, ни украинская литературы не обрели пока достаточной внутренней свободы для «постколониального» освобождения из-под власти своих господствующих дискурсов. В Украине фактически и после формального обретения независимости продолжается своего рода холодная гражданская война, в том числе и на уровне приснопамятной «борьбы двух культур», исход которой невозможно пока предугадать<sup>32</sup>. Это, понятным образом, поддерживает антиимперскую мобилизацию и соответствующий дискурс в украинской культуре, а с другой стороны, подпитывает традиционный имперский дискурс, давая ему определенные надежды на дальнейшее господство и открывая у его сторонников второе (или, пожалуй, двадцать второе) дыхание.

<sup>31</sup> Андрухович Ю. Двенадцать обручей. Пер. с укр. А. Красюка. Харьков, 2008.

<sup>32</sup> Более подробно об этом в моей книге: Рябчук М. Постколониальный синдром. Київ, 2011.